

Д.И. Писарев

[Татьяна Ларина]

Из статьи «Пушкин и Белинский. "Евгений Онегин"» (1865)

VI

Теперь я начинаю разбирать характер Татьяны и ее отношения к Онегину. Вводя нас в семейство Лариных, Пушкин тотчас старается предрасположить нас в пользу Татьяны; эта, дескать, старшая, Татьяна, пускай будет интересная личность, высшая натура и героиня; а та, младшая, Ольга, пускай будет неинтересная личность, простая натура и пряничная фигурка. Доверчивые читатели, конечно, тотчас предрасполагаются и начинают смотреть на каждый поступок и на каждое слово Татьяны совсем иначе, чем как они стали бы смотреть на такие же поступки и на такие же слова, сделанные и прознесенные Ольгой. Нельзя же в самом деле. Господин Пушкин изволят быть знаменитым сочинителем. Стало быть, если господин Пушкин изволят любить и жаловать Татьяну, то и мы, мелкие читающие люди, обязаны питать к той же Татьяне нежные и почтительные чувства. Однако же я попробую отрешиться от этих предвзятых чувств любви и уважения. Я взгляну на Татьяну как на совершенно незнакомую мне девушку, которой ум и характер должны раскрываться предо мною не в рекомендательных словах автора, а в ее собственных поступках и разговорах.

Первый поступок Татьяны — ее письмо к Онегину. Поступок очень крупный и до такой степени выразительный, что в нем сразу раскрывается весь характер девушки. Надо отдать полную справедливость Пушкину: характер выдержан превосходно до конца романа; но здесь, как и везде, Пушкин понимает совершенно превратно те явления, которые он рисует совершенно верно. Представьте себе живописца, который, желая нарисовать цветущего юношу, взял бы себе в натурщики чахоточного больного на том основании, что у этого больного играет на щеках очень яркий румянец. Точно так поступает и Пушкин. В своей Татьяне он рисует с восторгом и с сочувствием такое явление русской жизни, которое можно и должно рисовать только с глубоким состраданием или с резкою ирониею.

Что я не клевету на Пушкина, приписывая ему восторг и сочувствие, это я могу доказать многочисленными цитатами. На первый случай достаточно будет привести XXXI строфу III главы.

Письмо Татьяны предо мною:
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор
И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц.

Чтобы читатели поняли последнюю фразу, я должен им напомнить, что, как говорит Пушкин в XXVI строфе, письмо Татьяны было написано по-французски. Посмотрим теперь, что это за письмо и при каких условиях Татьяна почувствовала необходимость писать к Онегину.

Онегин во все продолжение романа был у Лариных три раза. В первый раз тогда, когда Ленский его представил и когда их обоих угощали вареньем и брусничного водою. Во второй раз тогда, когда он получил письмо Татьяны. И в третий раз на именинах Татьяны. Передавая Онегину приглашение Лариных на именины, Ленский говорит ему:

«А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь».

Значит, до именин было действительно *только два* визита, и мы не имеем никакой возможности предполагать, чтобы некоторые визиты Онегина были пройдены молчанием в романе. Значит, Татьяна влюбилась в Онегина *сразу* и решилась к нему написать письмо, проникнутая самою страстною нежностью, видевши его всего только один раз. Но что же такое произошло во время этого первого свиданья? В каких поступках, в каком разговоре обнаружались обаятельные особенности онегинского ума и характера?

Если бы «Евгений Онегин» был сочинен мною, то, может быть, я был бы в состоянии отвечать на эти вопросы, которые неизбежно должны возникнуть в уме каждого внимательного читателя, неспособного удовлетворяться одною звучностью и плавностью стиха. Но так как я неповинен в сочинении «Евгения Онегина», то в ответ на эти неизбежные вопросы я могу только выписать рассказ об этом первом визите, погубившем прелестную Татьяну во цвете юных лет.

Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угошенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водою.

(Гл. III. Стр. III)

Затем следует пять строк точек, а потом «они дорогой самой краткой домой летят во весь опор». Летя домой, они разговаривают между собою, и из их разговора мы узнаем, что Онегин выпил некоторое количество брусничной воды и боится от нее дурных последствий. Пожаловавшись на брусничную воду, Онегин спрашивает: «скажи, которая Татьяна?» — Ленский отвечает:

«Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна».

Знакомство было, очевидно, самое поверхностное, когда Онегин даже не знает, «*которая Татьяна*». Легко может быть, что Онегин не сказал с Татьяною ни одного слова; это обстоятельство тем более правдоподобно, что Ленский называет Татьяну молчаливой; по всей вероятности, разговором владела постоянно старуха Ларина; Онегин, на возвратном пути, говорит о ней:

«А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка».

Значит, он только об одной старухе и успел составить себе довольно определенное понятие. А в разговоре с *простою* старухой он, очевидно, не мог высказать ничего такого замечательного, что оправдывало бы или объясняло бы возникновение внезапного и страстного чувства в душе умной и рассудительной девушки. Как бы то ни было, результатом первого, совершенно поверхностного знакомства Татьяны с Онегиным оказалось то знаменитое письмо, которое Пушкин *свято бережет и читает с тайною тоскою*. Татьяна начинает свое письмо довольно умеренно; она выражает желание видеть Онегина хоть раз в неделю, чтоб только слышать его речи, чтобы молвить ему слово и чтобы потом

день и ночь думать о нем до новой встречи. Все это было бы очень хорошо, если бы мы знали, какие это речи так понравились Татьяне и какое слово она желает молвить Онегину. Но, к сожалению, нам достоверно известно, что Онегин не мог говорить старухе Лариной никаких замечательных речей и что Татьяна не вымолвила ни одного слова. Если же она желает молвить слова, подобные тем, которыми она наполняет свое письмо, то ей, право, незачем приглашать Онегина в неделю раз, потому что в этих словах нет никакого смысла и от них не может быть никакого облегчения ни тому, кто их произносит, ни тому, кто их выслушивает. Татьяна, по-видимому, предчувствует, что Онегин не станет ездить к ним раз в неделю, чтобы говорить ей речи и выслушивать слова; вследствие этого начинают в письме нежные упреки; уж если, дескать, не будете вы, коварный тиран, ездить к нам раз в неделю, так незачем было и показываться у нас; без вас я бы, может быть, сделалась верною женою и добродетельною матерью; а теперь я, по вашей милости, жестокий мужчина, пропадать должна. Все это, разумеется, изложено самым благородным тоном и втиснуто в самые безукоризненные четырехстопные ямбы. — Ни за кого я не хочу замуж идти, продолжает Татьяна, а за тебя даже очень хочу, потому что «то в вышнем суждено совете... то воля неба: я твоя», и потому что ты мне послан богом и ты мой хранитель по гроб моей жизни. — Тут Татьяна как будто спохватилась и, вероятно, подумала про себя: что ж это я, однако, за глупости пишу и с какой стати я это так раскутилась? Ведь я его всего-навсего только один раз видала. Так нет же вот, продолжает она: не один раз; не такая же я, в самом деле, шальная дура, чтобы вешаться на шею первому встречному; я влюбилась в него потому, что он мой идеал; а я уж давно мечтаю об идеале, значит, я видала его много раз; волосы, усы, глаза, нос — все как есть так, как должно быть у идеала; и, кроме того, в вышнем совете так суждено; и, кроме того, во всех романах г-жи Коттен и г-жи Жанлис так делается; значит, не о чем и толковать: влюблена я в него до безумия, буду ему верна в сей жизни и в будущей, буду о нем мечтать денно и ночью и напишу к нему такое пламенное письмо, от которого затрепещет самое бесчувственное сердце. Затем Татьяна бросает в сторону последние остатки своего здравого смысла и начинает взводить на несчастного Онегина самые неправдоподобные напраслины. «Ты в сновиденьях мне являлся». — Да я-то чем же виноват? — подумает Онегин. — Мало ли что ей могло присниться? Не отвечать же мне за всякую глупость, какую она во сне видала. —

«В душе твой голос раздавался
Давно... нет, это был не сон!»

— Вот тебе раз! Даже не сон. Теперь она еще нагородит, что я к ней наяву приходил. И она действительно городит это:

«Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой улаждала
Тоску волнуемой души».

— Это с вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитриевна, что вы помогаете бедным и усердно молитесь богу, но только зачем же вы сочиняете небылицы? Отроду я никогда с вами не говорил ни в тиши, ни в шуме, и вы сами это очень хорошо знаете.

С каждой дальнейшей строчкой письма Татьяна завирается хуже и хуже, по русской пословице: чем дальше в лес, тем больше дров:

«И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?»

— Да перестаньте же наконец, Татьяна Дмитриевна. Ведь вы уж до галлюцинаций договорились. Во-первых, я совсем не виденье, а ваш сосед, русский дворянин и помещик, Онегин, приехавший в деревню получить наследство от дяди. Это дело совершенно

практическое, и никакие милые видения подобными делами не занимаются. Во-вторых, за каким я дьяволом буду мелькать по ночам в прозрачной темноте и тихо прикипать к вашему изголовью! Мелькание — дело очень скучное и бесполезное; а тихое прикипание привело бы в неописанный ужас вашу добрую мамашу, которую я от души уважаю за ее простоту. И, наконец, могу вам объявить раз навсегда, что я по ночам не мелькаю, а сплю, тем более что и все мое интересное страдание, по справедливому замечанию г. Белинского, состоит в том, что я ночью сплю, а днем зеваю. Значит, мелькать мне некогда, и я могу вам сказать по совести, что если бы вы подражали моему благоразумному примеру, то есть крепко спали бы по ночам, вместо того чтобы мечтать о писанных красавчиках и читать раздражающие романчики, то вы никогда не стали бы уверять меня в том, что вы видали меня во сне, что мой голос раздавался в вашей душе и что я прикипаю к вашему изголовью. Вы бы тогда понимали очень хорошо, что все это — пустая, смешная и бестолковая болтовня.

Было бы очень недурно и очень полезно для Татьяны, если бы Онегин отвечал ей словесно или письменно в том резко-насмешливом и холодно-трезвом тоне, в каком я написал от его лица несколько фраз. Такой ответ, конечно, заставил бы Татьяну пролить несметное количество слез; но если только мы допустим предположение, что Татьяна была неглупа от природы, что ее врожденный ум не был еще окончательно истреблен бестолковыми романами и что ее нервная система не была вполне расстроена ночными мечтаниями и сладкими сновидениями, — то мы придем к тому убеждению, что горькие слезы, пролитые ею над прозаическим ответом жестокого идеала, должны были бы произвести во всей умственной жизни необходимый и чрезвычайно благодетельный переворот. Глубокая рана, нанесенная ее самолюбью, мгновенно истребила бы ее фантастическую любовь к очаровательному соседу. — Что ж, — подумала бы она, — должно быть, это в самом деле не он мелькал в прозрачной темноте. А если не он, так кто же? Да, должно быть, никто не мелькал. И зачем это я ему так много глупостей написала? И зачем это я сама так много о разных глупостях думаю? И зачем это я по ночам мечтаю? И зачем это я такие книги читаю, в которых пишут только о мечтаниях, мельканиях и прикипаниях?

Татьяна увидела бы ясно, что ее любовь к Онегину, лопнувшая как мыльный пузырь, была только подделкою любви, смешною и жалкою пародиею на любовь, бесплодную и мучительною игрою праздного воображения; она поняла бы в то же время, что эта ошибка, стоившая ей многих слез и заставляющая ее краснеть от стыда и досады, была естественным и необходимым выводом из всего строя ее понятий, которые она черпала с страстною жадностью из своего беспорядочного чтения; она сообразила бы, что ей надо застраховать себя на будущее время от повторения подобных ошибок и что для такого застрахования ей необходимо изломать и перестроить заново весь мир ее идей. Необходимо или отыскать себе другое, здоровое чтение, или по крайней мере прислониться в действительной жизни к какому-нибудь хорошему и разумному делу, которое могло бы постоянно поддерживать в ней умственную трезвость и отвлекать ее от туманной области наркотических мечтаний. Такое хорошее и разумное дело отыскать нетрудно; намек на него существует даже в нелепом письме Татьяны; она говорит, что помогает бедным, — ну, и помогай; но только займись этим делом серьезно и смотри на него как на постоянный и любимый труд, а не как на дешевое средство стереть с своей совести кое-какие микроскопические грешки. Имей в виду при этом помогании действительные потребности нуждающихся людей, а не то, чтобы подать бедному копейку и потом погладить себя за это по головке. Словом, несмотря на пустоту и бесцветность той жизни, на которую была осуждена Татьяна с самого детства, наша героиня все-таки имела возможность действовать в этой жизни с пользой для себя и для других, и она непременно принялась бы за какую-нибудь скромную, но полезную деятельность, если бы нашелся умный человек, который бы энергическим словом и резкою насмешкою выбросил ее вон из ядовитой атмосферы фантастических видений и глупых романов.

Но, разумеется, Онегин, стоящий на одном уровне умственного развития с самим Пушкиным и с Татьяною, не мог своим влиянием охладить беспорядочные порывы ее разгоряченного воображения.

Онегину очень понравилось сумасбродное письмо фантазирующей барышни.

...Получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.

(Гл. IV. Стр. XI)

Онегину представлялась возможность расположить свои отношения к Татьяне по одному из четырех следующих планов: во-первых, он мог на ней жениться; во-вторых, он, в своем объяснении с нею, мог осмеять ее письмо; в-третьих, он, в этом же объяснении, мог деликатно отклонить ее любовь, наговоривши ей при сем удобном случае множество любезностей насчет ее прекрасных качеств; в-четвертых, он мог поиграть с нею, как кошка играет с мышкою, то есть мог измучить, обесчестить и потом бросить ее.

Жениться Онегин не хотел, и он сам очень наивно объясняет Татьяне причину своего нежелания: «Я, сколько ни любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Соблазнять ее он тоже не желает, отчасти потому, что он не подлец, а отчасти и потому, что это дело ведет за собою слезы, сцены и множество неприятных хлопот, особенно когда действующим лицом является такая энергическая и восторженная девушка, как Татьяна. В онегинские времена уровень нравственных требований стоял так низко, что Татьяна, вышедши замуж, в конце романа считает своею обязанностью благодарить Онегина за то, что он поступил с нею благородно. А все это благородство, которого Татьяна никак не может забыть, состояло в том, что Онегин не оказался в отношении к ней вором. — Итак, два плана, первый и четвертый, отвергнуты. Второй план для Онегина неосуществим; осмеять письмо Татьяны он не в состоянии, потому что он сам, подобно Пушкину, находил это письмо не смешным, а трогательным. Насмешка показалась бы ему профанациею и жестокостью, потому что ни Онегин, ни Пушкин не имеют понятия о той высшей и вполне сознательной гуманности, которая очень часто заставляет мыслящего человека произнести горькое и оскорбительное слово. Такое слово обожгло бы Татьяну, но оно было бы для нее несравненно полезнее, чем все сладости, рассыпанные в речи Онегина. Но время Онегина не было временем той *gottliche Grobheit*,¹ которую совершенно справедливо превозносит Берне. Онегин решился поднести Татьяне золоченую пиллюлю, которая не могла подействовать на нее благотворно именно потому, что она была позолочена. Речь Онегина, занимающая в романе пять строф, вся целиком, как будто нарочно, направлена к тому, чтобы еще больше закружить и отуманить бедную голову Татьяны. «Я, — говорит Онегин, —

прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излиянья;
Мне ваша искренность мила (тон довольно султанский!);
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства».

С самого начала Онегин делает грубую и непоправимую ошибку; он принимает любовь Татьяны за действительно существующий факт; а ему, напротив того, надо было сказать и доказать ей, что она его совсем не любит и не может любить, потому что с первого взгляда люди влюбляются только в глупых романах.

¹ Божественная грубость (*нем.*).

«Когда б семейственной картиной (продолжает Онегин)
Пленялся я хоть миг единой,
То верно б, кроме вас одной,
Невесты не искал иной».

Это все за бестолковое письмо; разумеется, после этих слов сама Татьяна будет смотреть на свое послание как на образцовое произведение, отразившее в себе самое неподдельное чувство, самый замечательный ум. Эти лестные и, к сожалению, искренние слова Онегина должны подействовать на бедную Татьяну так, как подействовала на несчастного Дон-Кихота его победа над цирюльником и завоевание медного таза, который немедленно был переименован в шлем Мамбрина. Добывши себе трофей, Дон-Кихот, очевидно, должен был утвердиться в том печальном заблуждении, что он действительно странствующий рыцарь и что он действительно может и должен совершать великие подвиги. Выслушав комплименты Онегина, Татьяна точно так же должна была утвердиться в том, столь же печальном, заблуждении, что она очень влюблена, очень страдает и очень похожа на несчастную героиню какого-нибудь раздирательного романа. Каждое дальнейшее слово Онегина подносит несчастному Дон-Кихоту новые шлемы Мамбрина. Онегин объявляет своей собеседнице «без блессток мадригальных», что он нашел в ней свой *«прежний идеал»*, но что, к крайнему своему сожалению, он, по дряблости своего сердца, никак не может воспользоваться этой приятной находкой:

«Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостоин я.
.....
И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
.....
Я вас люблю любовью брата,
И, может быть, еще нежней».

Длинный хвалебный гимн Онегина заканчивается плоским и бесцветным нравоучением, которое находится в непримиримом разладе со всеми предыдущими комплиментами и которое вследствие этого, разумеется, будет пропущено Татьяною мимо ушей:

«Учитесь властвовать собою,
Не всякий вас, как я, поймет:
К беде неопытность ведет».

— К какой же беде? — должна подумать Татьяна. — Благодаря моей неопытности я написала к нему письмо, в котором он нашел очень много *ума* и очень много *простоты*; благодаря моей неопытности я раскрыла перед ним *мои совершенства*, я обнаружила перед ним *чистую пламенность моей души*, я попала в *прежние идеалы* и возбудила в нем *любовь брата* и, может быть, другую любовь, *еще более нежную*. А не напиши я этого письма, так ничего бы этого не случилось. А если он говорит, что не всякий меня поймет, то ведь мне до *всякого* нет никакого дела. Сердце мое наполнено навсегда моею несчастною любовью, и я до дверей холодной могилы буду влачить в моем истерзанном сердце эту несчастную любовь по тернистому пути моей мучительной жизни. Что Татьяна рассуждает именно таким образом и что ее мысли облекаются в ее голове именно в такие напыщенные формы, — это мы видим, между прочим, из тех размышлений, которыми она занимается ночью после дня своих именин, когда она сидит

Одна, печально под окном
Озарена лучом Дианы. —
«Погибну, — Таня говорит:
— Но гибель от него любезна.

Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».

Голова несчастной девушки до такой степени засорена всякою дрянью и до такой степени разгорячена глупыми комплиментами Онегина, что нелепые слова: «гибель от него любезна», произносятся с глубоким убеждением и очень добросовестно проводятся в жизнь. Забыть Онегина, прогнать мысль о нем какими-нибудь дельными занятиями, подумать о каком-нибудь новом чувстве и вообще превратиться какими-нибудь средствами из несчастной страдальцы в обыкновенную, здоровую и веселую девушку — все это возвышенная Татьяна считает для себя величайшим бесчестьем; это, по ее мнению, значило бы свалиться с неба на землю, смешаться с пошлою толпою, погрузиться в грязный омут житейской прозы. Она говорит, что «гибель от него любезна», и поэтому находит, что гораздо величественнее страдать и чахнуть в мире воображаемой любви, чем жить и веселиться в сфере презренной действительности. И в самом деле, ей удастся довести себя слезами, бессонными ночами и печальными размышлениями под лучом Дианы до совершенного изнеможения.

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.

И все это в значительной степени было результатом ее разговора с Онегиным.

Что было следствием свиданья?
Увы, нетрудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуше страстью безотрадной
Татьяна бедная горит.

Читатель видит теперь, что утонченная любезность Онегина принесла самые богатые плоды.

VII

После отъезда Онегина из деревни Татьяна, стараясь поддержать в себе неугасимый огонь своей вечной любви, посещает неоднократно кабинет уехавшего идеала и читает с большим вниманием его книги. С особенным любопытством вглядывается и вдумывается она в те страницы, на которых рукою Онегина сделана какая-нибудь отметка. Таким образом она прочитала, сочинения Байрона и несколько романов,

В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно.

«И ей открылся мир иной», объявляет нам Пушкин. Слова: «мир иной», должны, по видимому, обозначать собою новый взгляд на человеческую жизнь вообще и на личность Онегина в особенности. Затем Пушкин продолжает:

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,

Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Ужель загадку разрешила?
Ужели *слово* найдено?

(Гл. VII. Стр. XXIV, XXV)

Невозможно понять, зачем Пушкин навязал Татьяне все эти критические размышления и зачем он хочет нас уверить, что ей открылся мир иной. Этот «мир иной» и эти размышления о москвиче в Гарольдовом плаще не обнаруживают ни малейшего влияния ни на фантастическую любовь Татьяны, ни на ее поступки. До открытия нового мира она воображала себе, что влюблена по гроб жизни; после своего открытия она остается при том же самом убеждении. До открытия нового мира она беспрекословно повиновалась мамаше; и после открытия она продолжает повиноваться так же беспрекословно. Это с ее стороны очень похвально, но для того, чтобы повиноваться мамаше в самых важных случаях жизни, не было ни малейшей надобности открывать новый мир, потому что и старый наш мир основан целиком на смирении и послушании.

Пока Татьяна в кабинете Онегина открывает новые миры, один из жителей старого мира советует ее мамаше повезти дочь «в Москву, на ярмарку невест». Ларина соглашается с этой мыслью, и когда Татьяна узнает об этом решении, тогда она, с своей стороны, не представляет никаких возражений. Надо полагать, что «ярмарка невест» занимает очень почетное место в том новом мире, который открыла Татьяна. Но если новый мир допускает ярмарку невест, то любопытно было бы узнать, чем он отличается от старого мира и какая надобность была его открывать?

В Москве Татьяна ведет себя именно так, как обязана вести себя благовоспитанная барышня, привезенная заботливою родительницею на ярмарку невест. Разумеется,

Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,
В деревню к бедным поселянам,
В одушевленный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей, —
Туда, где *он* явился ей.

(Гл. VII. Стр. LIII)

Но ведь это все пустые слова, и наивен был бы тот читатель, который бы принял их за чистую монету. Куда бы она ни стремилась мечтой — это решительно все равно. Тело ее, затянутое в корсет, во всяком случае находится там, где ему велят находиться, и делает именно те движения, которые ему прикажут делать. В то время, когда она стремится в сумрак липовых аллей, две тетушки предписывают ей смотреть налево, на толстого генерала, и она смотрит. Потом ей приказывают выйти замуж за этого толстого генерала, и она выходит за него замуж.

Если все эти действия находятся в строгом согласии с законами ее нового мира, то я осмеливаюсь думать, что она с большим удобством могла бы избавить себя от труда производить свои открытия, потому что все эти открытия были давно уже сделаны самыми отдаленными ее предками. Я полагаю, что в умственной жизни Татьяны онегинские книжки не произвели никакого переворота. Татьяна до конца романа остается тем самым рыцарем печального образа, каким мы видели ее в ее письме к Онегину. Ее болезненно развитое воображение постоянно создает ей поддельные чувства, поддельные потребности, поддельные обязанности, целую искусственную программу жизни, и она выполняет эту искусственную программу с тем поразительным упорством, которым обыкновенно отличаются люди, одержимые какою-нибудь мономаниею. Она вообразила себе, что влюблена в Онегина, и действительно влюбила себя в него, начала пылать страстью

и делать глупости, подобные кувырканьям влюбленного Дон-Кихота в горах Сиерры-Морены. Потом она вообразила себе, что ее жизнь разбита, и вследствие этого начала худеть и бледнеть. Потом, видя, что ей не удастся умереть, она себе вообразила, что теперь она ко всему равнодушна; тогда она отдала себя в полное распоряжение своих родственниц, которые повезли ее на ярмарку невест и там сбыли ее, как хороший товар, толстому генералу. Очутившись в руках своего нового хозяина, она вообразила себе, что она превращена в украшение генеральского дома; тогда все силы ее ума и ее воли направились к той цели, чтобы на это украшение не попало ни одной пылинки. Она поставила себя под стеклянный колпак и обязала себя простоять под этим колпаком в течение всей своей жизни. И сама она смотрит на себя со стороны и любит свою неприкосновенность и твердость своего характера. Мне, думает она, очень скучно под колпаком, а я все-таки из-под него не выйду ни для кого на свете, потому что я — украшение генеральского дома; а генерал приобрел меня не за тем, чтобы я жила в свое удовольствие.

Онегин встречается с нею в Петербурге в то время, когда она, драпируясь в свою неприкосновенность, уже украшает свою добродетельною особою жилище толстого генерала. Видя, что украшение генеральского дома блестит самыми яркими красками, Онегин проникается предосудительным желанием вытащить это украшение из-под стеклянного колпака. Но украшение не трогается с места и, оставаясь под колпаком, читает оттуда предприимчивому денди такую проповедь, которая доставляет ему очень мало удовольствия. Этой проповедью, как известно, заканчивается весь роман. Знаменитый монолог Татьяны заключает в себе следующий смысл: зачем вы не влюбились в меня прежде? Теперь вы ухаживаете за мною потому, что я превратилась в блестящее украшение богатого дома. Я вас все-таки люблю, но прошу вас убираться к черту; свет мне противен, но я намерена безусловно исполнять все его требования.

Этот монолог доказывает ясно, что Татьяна и Онегин — друг друга стоят; оба они до такой степени исковеркали себя, что совершенно потеряли способность думать, чувствовать и действовать по-человечески. Монолог Татьяны отличается самою полною откровенностью, и именно по этой причине он весь составлен из непримиримых противоречий. Подозревая Онегина в мелком тщеславии, она, очевидно, отказывает ему в своем уважении; и в то же время, не уважая его, она его любит; и в то же время, любя его, она его отталкивает; отталкивая его из уважения к требованиям света, она презирает «всю эту ветошь маскарада»; презирая всю эту ветошь, она занимается ею с утра до вечера. Все эти противоречия доказывают совершенно очевидно, что она ничего не любит, ничего не уважает, ничего не презирает, ни о чем не думает, а просто живет со дня на день, подчиняясь заведенному порядку и разгоняя свою непроходимую скуку разными крошечными подобиями чувств и мыслей, такими подобиями, которые могут выдавить из прекрасных очей несколько слезинок, но которые никогда не создадут ни одного решительного поступка. Само по себе чувство Татьяны мелко и дрябло; но по отношению к своему предмету это чувство точь-в-точь такое, каким оно должно быть; Онегин — вполне достойный рыцарь такой дамы, которая сидит под стеклянным колпаком и обливается горячими слезами; другого, более энергического чувства Онегин даже не выдержал бы; такое чувство испугало и обратило бы в бегство нашего героя; безумная и несчастная была бы та женщина, которая из любви к Онегину решила бы нарушить величественное благочиние генеральского дома. Сам Онегин, вероятно, отшатнулся бы от нее, как от неистовствующей фурии, и уже во всяком случае Онегин поступил бы с нею по той программе, которую он наивно раскрыл перед Татьяною в липовой аллее, то есть, *привыкнув, разлюбил бы тотчас*. Стоит же, в самом деле, затевать в генеральском доме скандал для того, чтобы доставить Онегину несколько приятных минут и попользоваться его благосклонностью до тех пор, пока он не привыкнет!

Татьяна задает Онегину вопрос: отчего вы меня не полюбили прежде, когда я была лучше и моложе и когда я любила вас? Этот вопрос поставлен очень удачно, и если бы Онегин хотел и умел отвечать на него совершенно искренно, то ему пришлось бы сказать:

оттого, что люди, подобные мне, способны только шутить и забавляться с женщинами. Когда вы были девушкой, тогда мне предстояла необходимость принять на себя в отношении к вам серьезные обязанности; мне надо было тогда взять на себя заботу о вашем счастье, то есть об удовлетворении всех ваших материальных и умственных потребностей; раз принявши на себя эту заботу, я бы уже не имел возможности сложить ее на кого-нибудь другого; а такая перспектива приводила меня в ужас, потому что я не способен ни к какому серьезному делу, не способен даже заботиться о материальном и умственном благосостоянии той женщины, которая доставляет мне приятные минуты. Теперь дело совсем другое. Теперь я могу завести с вами веселую интрижку, с таинственными свиданиями, с пламенными объятиями и без всяких будничных, то есть серьезных и спокойно-дружеских, отношений. Эта интрижка будет продолжаться месяцев пять-шесть, и потом я засвидетельствую вам мое почтение, не обращая никакого внимания на то, любите ли вы меня или нет.

Когда Онегин писал к Татьяне страстные письма и когда он, у нее в доме, бросился к ее ногам, тогда он, разумеется, добивался только интрижки. Пушкину представлялся очень удобный случай измерить глубину и силу онегинской любви, но Пушкин, конечно, не воспользовался этим случаем, потому что он не имел ни малейшего желания выставить напоказ самые мелкие и дрянные стороны онегинского характера. Это полное разоблачение ничтожной личности было бы неизбежно, если бы на месте Татьяны стояла энергичная женщина, любящая Онегина действительно, а не придуманною любовью. Если бы эта женщина бросилась на шею к Онегину и сказала ему: я твоя на всю жизнь, но, во что бы то ни стало, увези меня прочь от мужа, потому что я не хочу и не могу играть с ним подлую комедию, — тогда восторги Онегина в одну минуту охладели бы очень сильно. Может быть, он посовестился бы обнаружить сразу всю свою трусость, всю свою несостоятельность перед серьезною заботою; может быть, он не осмелился бы отшатнуться тотчас от женщины, перед которою он за минуту перед тем сам стоял на коленях; может быть даже, чувствуя невозможность отступления, он решился бы, скрепя сердце, увести эту женщину куда-нибудь за границу; но между невольным похитителем и несчастною жертвою завязались бы немедленно такие скрипучие и мучительные отношения, которых бы не выдержала ни одна порядочная женщина. Дело кончилось бы тем, что она убежала бы от него, выучившись презирать его до глубины души; и, разумеется, бедной, опозоренной женщине пришлось бы или умереть в самой ужасной нищете, или втянуться поневоле в самый жалкий разврат. Если бы Пушкин захотел и сумел написать такую главу, то она, мне кажется, обрисовала бы онегинский тип ярче, полнее и справедливее, чем обрисовывает его теперь весь роман. Но для того, чтобы подвергнуть онегинский тип такому жестокому и вполне заслуженному унижению, самому Пушкину, очевидно, было необходимо стоять выше этого типа и относиться к нему совершенно отрицательно.

VIII

Белинский посвятил характеристике Татьяны целую отдельную статью. В этой статье он, по своему обыкновению, высказал много превосходных мыслей, которые даже теперь, по прошествии двадцати лет, могут еще изумлять и приводить в ужас неисправимых филистеров. Но, отдавая полную справедливость превосходным частностям этой статьи, я должен заметить, что по своей основной идее, по своему взгляду на характер Татьяны она оказывается совершенно несостоятельною. Белинский ставит Татьяну на пьедестал и приписывает ей такие высокие достоинства, на которые она не имеет никакого права и которыми сам Пушкин, при своем поверхностном и ребяческом взгляде на жизнь вообще и на женщину в особенности, не хотел и не мог наделить любимое создание своей фантазии.

Главная причина неосновательного пристрастия Белинского к Татьяне заключается, по моему мнению, в том, что Белинскому приходится защищать как самого Пушкина, так и Татьяну против тупых и пошлых нападений тогдашнего филистерства. В увлечении полемики трудно сохранять постоянно трезвость критического взгляда. Опровергая глупые замечания филистеров, Белинский вдается часто в противоположную крайность. Филистеры говорят, например: такой-то поступок отвратителен. Белинский, в пику им, утверждает, что он великолепен. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что филистеры, конечно, городят ужасный вздор, но что и Белинский совершенно неправ, потому что в разбираемом поступке нет ничего ни отвратительного, ни великолепного. — Это влияние филистерских толков на процесс мысли, совершившийся в голове великого бойца Белинского, выразилось очень ясно во многих местах его критических статей о Пушкине. Вот, например, как рассуждает Белинский о письме Татьяны к Онегину:

«Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный и благородный, но его источник заключается не в сознании, а в бессознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатною барынею, для нее совершенно исчезла возможность таких наивно-великодушных движений сердца». Затем следует несколько эстетических замечаний о той форме, в какой выразилось чувство Татьяны. Потом начинаются сражения с филистерством. «Замечательно, — продолжает Белинский, — с каким усилием старается поэт оправдать Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо; видно, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого писал».

Выдержав несколько строф из «Онегина», Белинский продолжает: «Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом — и в чем же? — в том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование, — что у нее есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом! Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа в том, что она — женщина, а не деревяшка, выточенная по подобию женщины».

Благодаря ослиным воплям филистеров весь вопрос о Татьяне сдвинут в сторону и поставлен совершенно неправильно. Белинский доказывает, что, любя Онегина, Татьяна имела полное право написать к нему письмо. Это не подлежит сомнению, и против этого могут спорить только филистеры. Но сущность вопроса состоит совсем не в этом, а в том, может ли и должна ли умная девушка влюбляться в мужчину с первого взгляда. Белинский смотрит на Татьяну очень благосклонно за то, что у нее оказалось в груди сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом. Это с ее стороны очень похвально, но, увлекшись этим достоинством ее личности, Белинский совершенно забывает справиться о том, имелось ли в ее красивой голове достаточное количество мозга, и если имелось, то в каком положении находился этот мозг. Если бы Белинский задал себе эти вопросы, то он немедленно сообразил бы, что количество мозга было весьма незначительно, что это малое количество находилось в самом плачевном состоянии и что только это плачевное состояние мозга, а никак не присутствие сердца, объясняет собою внезапный взрыв нежности, проявившейся в сочинении сумасбродного письма. Белинский благодарит Татьяну за то, что она — женщина, а не деревяшка; тут наш критик, очевидно, хватил через край и, замахнувшись на филистеров, сам потерял равновесие. Разве, в самом деле, надо непременно быть деревяшкой для того, чтобы после первого свиданья с красивым денди не упасть к его ногам? И разве быть женщиной значит писать к незнакомым людям раздирающие письма?

Белинский с замечательной силой анализа очерчивает тот тип, к которому принадлежит Татьяна; он называет этот тип — типом *идеальных дев*; он подмечает все его смешные стороны и относится к нему совершенно отрицательно. Читая это описание идеальных дев, вы ожидаете, что он немедленно подведет Татьяну под эту категорию и осмеет самым беспощадным образом все ее глупые вздыхания об Онегине. Не тут-то было! Белинский напрягает все силы своего великого таланта, чтобы провести резкую

разделительную черту между полчищем идеальных дев и личностью пушкинской героини; но эта задача оказывается неразрешимой, и все аргументы Белинского остаются очень неубедительными по той простой причине, что они не находят себе никакой опоры в фактах самого романа. «Татьяна, – говорит Белинский, – существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастье взаимности любовь такой женщины — ровное, светлое пламя; в противном случае — упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрашием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна».

Да, такова Татьяна, сочиненная Белинским, но совсем не такова Татьяна Пушкина. Вся глубина пушкинской Татьяны состоит в том, что она сидит по ночам под лучом Дианы. Вся ее исключительность — в том, что она бродит по полям

С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Вся ее страстность выкипает без остатка в одном восторженном письме. Написавши это письмо, она находит, что она заплатила достаточную дань молодости и что ей затем остается только превратиться в неприступную светскую даму. Во всем романе мы видим только два поступка Татьяны: во-первых, ее письмо, во-вторых, ее заключительный монолог; только по этим двум моментам в ее жизни мы должны составлять себе понятие о ее характере; в антракте между этими двумя решительными моментами она только мечтает, хуеет, грустит, тоскует и вообще ведет себя, с одной стороны, как идеальная дева, а с другой стороны, как пассивный товар, который можно везти на ярмарку и продавать лицом. Что же касается до двух выдающихся точек в ее жизни, то, основываясь на них, можно только применить к Татьяне известные слова Пушкина:

Блажен, кто смолоду был молод;
Блажен, кто вовремя созрел.

В молодости своей Татьяна отличалась эксцентрическими выходками, а созревши, она превратилась в воплощенную солидность. Чрез такие превращения проходят самые отчаянные филистеры, которые во время своего студенчества бывают обыкновенно самыми разбитными буршами. Возможность этого превращения превосходно понимает и сам Белинский. «Многие из них, – говорит он об идеальных девах, – не прочь бы и от замужества, и при первой возможности вдруг изменяют свои убеждения и из идеальных дев делаются самыми простыми бабами». Татьяна сделалась не самою простою бабою, а самою блестящею дамою. Разница, кажется, не очень значительна, и превращение разбитного бурша в солидного филистера так же несомненно во втором случае, как и в первом.

Что случилось бы с Татьяною, если бы она вышла замуж по страстной любви, — об этом мы ровно ничего не знаем, но мы можем заметить, что у самого Белинского на этот счет встречается очень любопытное противоречие. Рассматривая характер Татьяны отдельно и переделывая его по своему произволу, Белинский утверждает, что она может быть превосходною супругою и образцовою матерью. Но, анализируя тот же характер в связи с характером Онегина, Белинский приходит к тому заключению, что Онегин не должен был жениться на Татьяне, потому что Татьяна была бы с ним несчастнейшею женщиною и сделалась бы для него невыносимую обузою. «Что бы нашел он

потом в Татьяне? – спрашивает Белинский. – Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее». Вот видите, как неудобно умному человеку (Белинский считает Онегина за умного человека) жениться на Татьяне. Куда ни кинь — все клин. А между тем она полагает, что влюблена в него, и притом влюблена на всю жизнь, и ни о какой другой любви не хочет слышать. Если, вышедши замуж за этого любимого человека, она неизбежно должна сделаться для него невыносимой обузой, то, спрашивается, какие же условия необходимы для того, чтобы она могла развернуть свою способность быть превосходною женою и образцовою матерью? По какому рецепту должен быть составлен тот человек, в которого она могла бы влюбиться и которого, кроме того, она могла бы осчастливить своею любовью? Кажется мне, что Татьяна никого не может осчастливить и что если бы она вышла замуж не за толстого генерала, а за простого смертного, желавшего найти в ней не украшение дома, а доброго и умного друга, то ее семейная жизнь расположилась бы по следующей программе, очень остроумно составленной Белинским для некоторых идеальных дев: «Ужаснее всех других, – говорит Белинский, – те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития и при испорченности фантазии они создают свой идеал брачного счастья, — и когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования». Именно так; и поэтому идеальной деве Татьяне Дмитриевне Лариной всего лучше и безопаснее было отправиться на ярмарку невест, чтобы потом превратиться в самую простую бабу или в самую блестящую светскую даму.

Думать, что Пушкин способен создать тип образцовой жены и превосходной матери, значит положительно взводить напраслину на нашего резвого любимца муз и граций. В такой серьезной идее Пушкин решительно неповинен. На женщину он смотрит исключительно с точки зрения ее миловидности. «Женщины, – говорит он в одном письме, – не имеют характера; они имеют страсти в молодости; оттого нетрудно и выводить их». В браке он видит только «ряд утомительных картин, роман во вкусе Лафонтена». К слову «женат» у него есть непременно две постоянные рифмы: «халат» и «рогат». За женитьбой, по его мнению, неизбежно следует опошление; а те люди, которые способны опошлиться, оказываются самыми скверными мужьями и живут с своими женами как кошка с собакой. Действительно, надо быть высокоразвитым человеком, надо быть фанатиком великой идеи и плодотворного труда, чтобы понять и выразить всю бесконечную поэзию постоянной любви. У нас все романы обыкновенно оканчиваются там, где начинается семейная жизнь молодых супругов. Доведя своего героя до свадьбы, романист прощается с ним навсегда. Когда выводится в романе брачная чета, то она выводится или затем, чтобы изобразить бури семейной жизни, или затем, чтобы нарисовать сонное царство, вроде «Старосветских помещиков».

<...>